

Яблоновский С. <Снадзский А.А.> Из жизни Чехова // Новое русское слово.
Нью-Йорк, 1949. 11 сентября. № 13652. С. 5, 7.

Из жизни Чехова

Сергей Яблоновский.

Это было в Москве, приблизительно в 1903 году. Мы с женою были в гостях у Александра Михайловича Успенского.

Александр Михайлович был тенором Большого театра. Голос у него был небольшой, с чуть-чуть носовым оттенком, но театр, в труппе которого были исключительные силы, дорожили им, так как это был певец большого музыкального образования, вкуса, и несомненного драматического дарования. Между прочим, давал прекрасную фигуру Моцарта и не казался карликом рядом с изумительным Шаляпиным — Сальери. Кроме того был на стоящим «интеллигентом», что среди оперных артистов не особенно часто встречается. Ценили его и как прекрасного профессора. Вследствие всех этих обстоятельств у него собирался порою интересный народ, больше люди искусства.

Среди присутствовавших мое внимание привлекла к себе одна дама. Было ей вероятно уже лет за пятьдесят, но была она красива; но глядя на нее, я испытывал совсем необыкновенное и тревожное ощущение: был совершенно уверен, что никогда с нею не встречался, и в то же время отчетливо сознавал, что знал ее может быть больше многих знакомых.

Этот широкий, слегка мелодраматический жест, эта немного экзальтированная речь, большой темперамент, старомодное обращение к собеседникам не по имени — отчеству, а по фамилии, красиво закрутая голова, некоторая мужественность, — все это я знаю до такой степени, что могу угадать, что она сейчас скажет, как отнесется к тому или иному вопросу. Странно... Никогда этого со мной не было.

Мое чувство возросло до последней степени, когда подошла ко мне жена спросила, показывая глазами на эту загадочную женщину:

— Ты не знаешь, кто это такая? Мне кажется, что я ее...

Колдовство. Тогда я обратился за разгадкой к хозяину. Встреча.

— Как, разве вы не знаете? Да ведь это же чеховская «попрыгунья»!

«Сказано слово — и все объяснилось». Передо мной воскресла одна из чудеснейших его повестей, которую я столько раз перечитывал, и самому себе, и — вслух — друзьям, все с большим и большим наслаждением. Ольга Ивановна, жена Осипа Дымова! (Ах, для чего современные писатели берут иногда псевдонимами имена литературных «героев», заставляя их образы своими собственными, несколько не соответствующими) Ольга Ивановна. «Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее как свою, как ровню и пророчили ей в один голос, что при ее талантах, вкусе и уме, если она не разбросается, выйдет большой толк»; и — «она пела, играла на рояле, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но все это не как нибудь, а с талантом...»

— Нет, вы послушайте, — говорила Ольга Ивановна, хватая кого-то за руку, — вы слушайте, слушайте. Рябовский... И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Неправда ли, в нем есть что-то сильное, могучее, медвежье? Теперь его лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено, но когда он обернется, вы посмотрите на его лоб. Рябовский, что вы скажете об этом лбе? Дымов, мы о тебе говорим, крикнула она мужу. — Иди сюда,

протяни свою честную руку Рябовскому...»

Та, что была теперь передо мною, была не просто экспансивная женщина, каких множество, — нет, это была именно она, яркая, талантливая, умная, восторженная, зажигающая сажа и требующая, чтобы о нее зажигались другие, — все та же, несмотря на то, что ее портрет Чехов написал уже давно. Повесть эта впервые появилась в журнале «Север» лет десять назад, в девяносто втором, или третьем году. И так же около нее и теперь были актеры, певцы, художники, литераторы, и так же они к ней относились.

«Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к ним она скоро привыкала, или разочаровывалась в них, и начинала искать новых великих людей; находила и опять искала».

Теперь среди присутствующих, кажется, один я еще не был с нею знаком, и потому тотчас же был приглашен исполняющим должность великих.

Ольга Ивановна Дымова, Софья Петровна Кувшинникова, рассказала мне, кажется, в первую же встречу у нее на квартире свою историю «Попрыгунья».

Но прежде два слова о ее жилище: до тех пор я знал, что значит твердая рука художника карандаша, кисти. Теперь я с удивлением и восторгом понял, что такое перья писателя, точная, непогрешимая. Теперь она и обстановка, в которой она жила, представляли собою «единое неделимое», и все это вместе было картиной, написанной Чеховым.

Прошло с того времени почти полвека, обрушилось множество других событий и переживаний, таких всепоглощающих, что лучше, если бы их и вовсе не было, и я боюсь теперь ошибиться, сказав, что это была точь в точь обстановка, которую написал Чехов, и характер, но некоторые детали, а главное, «существо существа», были совершенно те же.

Чего не было тогда у Ольги Ивановны Дымовой, — это нескольких полотен Левитана, висевших теперь у Софьи Петровны Кувшинниковой. Около них пейзажи самой Софьи Петровны, необыкновенно напоминавшие стиль, характер, настроение ее великого учителя. Некоторые ее полотна были потом и у меня! она дарила легко и щедро.

Вот что в ближайшее время после моего знакомства я узнал обо всей этой истории. Главнейшим образом от самой Попрыгуньи, частью от Александра Павловича Ленского. Это был адвокат и прокурор Чехова.

У Софьи Петровны собиралась та самая компания, которая описана в повести. Было дружно и весело, потому что все друг к другу привыкли, друг друга любили, ценили, и ценить их было за что. В среду постоянных членов компании время от времени попадали, подобно кометам в круг расчитанных светил, новые, часто заезжие и всегда были хорошо поданы.

Мир и спокойствие этого даровитого общества вдруг был совершенно нарушен тем, кого Чехов упомянул последним в их кружке: «литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы».

Что-то принес номер «Севера», в котором помещалось то, что называли бы теперь атомной бомбой.

— А в сущности, что там было оскорбительного? — говорила Софья Петровна, начавшая со мной беседу на эту тему, конечно, по собственной инициативе. — Дымова — попрыгунья-стрекоза, «ла-сигаль», лафонтеновская мораль, назидательная и жестокая, лаяно уже получала осуждение, право петь и даже плясать давным давно было уже завоевано, а попрыгунья избрана вовсе не отрицательными чертами.

Трагизм ее фабулы всецело является результатом художественного творчества, не отвечающим действительности. Незнающие могут думать, что Чехов раскрыл семейную тайну, ворвался в интимную жизнь семьи, но он вообще не думал о «натурщиках».

«Свет не карает заблуждения»,

Но тайны требует от них, но как раз тайны-то здесь и не было.

Дальнейшее я рассказываю уже со слов не Софьи Петровны, может быть, и не со слов Ленского, но справедливость рассказанного не подлежит сомнению.

Между Софьей Петровной и ее мужем, врачом одной из московских больниц, давно уже установились чисто дружеские отношения, и роман ее с художником не был секретом ни для кого. Трагического высасывания Дымовым дифтерийных пленок не было, и сам Кувшинников в то время, когда появилась эта повесть, был жив и здоров. Наличности же некоторого конфуза отрицать, конечно, нельзя. Может быть, ярче других почувствовал это сам автор, разом прекративший посещение этого общества друзей. Испытывал, конечно, неприятное чувство Дымов-Кувшинников, поставленный автором на пьедестал, вызвавший к себе глубочайшее участие всей читающей России. Серверу по окончании вечеров закуски он с улыбкой, вероятно, не особенно добродушной, приговаривал:

— Как мне выбиться из этого чеховского мясу?!

И уже вовсе не добродушно пережил все это герой романа И. И. Левитан вызвал на дуэль своего старого друга.

Вступились друзья и новодикого варварства не произошло: ни Левитану не пришлось убить Чехова, ни Чехову — Левитана. И великому писателю, и великому художнику судьба позволила еще некоторое время поработать для мира Чехову — десять лет, Левитану — семь.

(Окончание на 7 стр.).

(Начало на 5 стр.)

Русский гений издавна венчает тех, которые мало живут... кажется, впрочем, что Чехов его глубоким, трезвым, без позы и истерики умом, ли согласился бы убивать лека, которого глубоко ценил и не стал бы поднимать под выстрел и себя. Кажется, не из трусости, своей совершенно исключительной скромности, он все твердо знал, что в еще далекой не культурной стране писатель представляет собою ценность, бросаться которой не следует. Это он доказал за несколько месяцев до смерти, пополнив Художественному театру устроить его юбилей. Чехов был в то время тяжело болен, еле передвигался и понимал, что юбилейная суета очень сократит оставшиеся дни его жизни. Ему всегда была глубоко враждебна шумиха вокруг его имени. Признан он был уже достаточно; ему новое «показательство» не было нужно, но он сказал: «нужно, чтобы в России чествовали писателя». И пошел на чествование, как на тяжкую муку.

Страшно было смотреть на него, стоящего на сцене в вечер 17 января, в центре этого грандиозного чествования, такого, какое могла организовать только Москва, а в ней — только Художественный театр. Венки, подарки, адреса, телеграммы, речи (среди подарков — сам театр: «Этот театр, Антон, — твой театр», — сказал со сцены Вл. Немирович-Данченко, потом переизменивший его Горькому: «ничего не подделай...»). Чехов стоял и, вследствие необычайной худобы, казался таким высоким; бледное лицо; ярко красные чахоточные пятна на щеках. Чествование длится и длится; строгое лицо бледнеет все сильнее, и красные пятна кажутся еще ярче; кровавыми. Рвущаяся к нему толпа публики требует: «Сядьте! Сядьте!». Но он не устает; он решил до конца перестрадать — для публики раздвигая, для него — страдая, купленное последними остатками догорающих сил.

Без двух дней он прожил еще полгода...

Я против воли отвлекся. Итак, дуэль Чехов-Левитан не состоялась, как — раньше — не состоялась дуэль Тургенев-Толстой, позже — Блок-Андрей Белый. Если бы было иначе, как прав был бы милый деревенский батюшка, приписывавший все зло мира неверию и говоривший:

— «Поэтому и только поэтому все русские поэты погибли на дуэли...»

И в чем заключался повод для поединка? Защитить честь женщины? Но ни Ольга Ивановна в повести, ни Софья Петровна среди тех, кто ее знал, оскорблены не были. Ольгу Ивановну Чехов наделил такою большою, стоявшею таких страданий любовью, что слово обвинения, замолкает, а Софья Петровна не могла быть оскорблена потому, что в реальной действительности не было того, что является драмою в повести.

Или Левитан считал нужным защитить свою собственную

честь? На этот вопрос должны ответить улыбкой все художники, все писатели, все артисты, все мужчины за ничтожнейшими исключениями.

Оставалась неловкость, остро почувствованная самим автором, исчезнувшим, сбежавшим.

Чехов приехал к Софье Петровне через несколько лет разрыва, просить прощения за то, в чем она его не винила.

Он сообщил ей и причину, вследствие которой повесть появилась в печати.

Эта причина, указанная им самим, в глазах иных является комической, в глазах других — служит не оправданием, а усугублением вины, снижающим нравственный облик Чехова, но найдутся люди, которые взглянут на дело иначе.

Причина эта — Чехову понадобились деньги...

Повесть, стало быть, была написана, а печатать ее Чехов не хотел. Боялся обидеть. Не мог не чувствовать, что это произведение огромной художественной ценности, одно из лучших его произведений, а у Чехова самого начала девяностых годов — несомненно, самое лучшее. Все компрометирующее героиню ее, как я уже сказал — не имеет никакого отношения к ее реальной жизни. Кто из писателей устоит перед соблазном показать читателю свое высшее достижение? Кто из писателей не выводил в каждой своей вещи живых людей и положения, в которых они находились? «Из головы» пишут только композиторы, а писателю, художнику кисти, артисту сцены необходимы натурщики, которых они жадно ищут в окружающей жизни. Знающие литературу назовут множество этих натурщиков и натурщиц.

А Чехов прятал, скрывал. Но, вероятно, доводы, подобные приведенным мною, заставили его признать за собою свое писательское право в тяжелую минуту, когда ему остро понадобились деньги.

То, что он признавал за собою это право, ясно говорит его собственное признание. Кто заставил его это признание сделать?

Я не часто встречался с Софьей Петровной: большая занятость, большие московские расстояния, много других интересов мешали этому, да она скоро после начала нашего знакомства и умерла, но чувствовал я себя близко знакомым; вызывалось такое отношение ее характером, открытым, искренним, рвущимся навстречу к людям. С ней каждый чувствовал себя легко; около нее было уютно. О себе она говорила немногое, хотя ничего и не скрывала; больше интересовалась другими, чем собою.

От этих других я слышал об ее сценических успехах; она играла даже Гамлета, может быть, после Сары Бернар, но раньше, чем на это покусилась Яворская. Больших похвал за исполнение датского принца я не слышал, но не слышал и порицаний, а о том, что это не могло быть любительски плохо, свидетельствует ее большая дружба с Ленским. (У Чехова: «артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный и скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать»). Разумеется, без его участия, помощи, может быть, даже благословения, это выступление обойтись не могло. Александр Павлович был едва ли не самым близким ее другом, в русском понимании этого большого слова. Софья Петровна гащивала в его имени, и у меня осталось воспо-

минание об этом, в виде подаренного мне ею полотна: широкая колоннада окаймляющая террасу в этом имени с открывающейся за нею далью, — одно из лучших ее произведений.

Смерть Кувшинниковой для меня неразрывно слита с образом Ленского, рыцаря-идеалиста, мечтателя, боявшегося соприкосновения с жизнью, всегда грубой, всегда несправедливой.

В церкви было отпевание, было много народа, а он, самый близкий к ней, сидел на паперти и не подозревал, какой являлся внутренней и внешней красотой, воплощением горя глубокого, замкнутого в себе и безнадежного. Так глубоко, непоказно-скромно и хватающе за сердце мог бы изобразить на сцене Ленский скорбь в шиллеровской трагедии; он, меньше всего думавший сейчас о сцене и театре.

Этим отношением к Кувшинниковой объясняется и несправедливое отношение Ленского к чеховской «Попрыгунье», и то, что Чехов мог напечатать эту повесть. Есть вещи, к которым нельзя все приписать: для него таким табу была Софья Петровна.

Такое отношение такого че-

ловека поднимает в наших глазах ее образ; нам дорога сама эта пристрастность, но она остается все же пристрастностью и не должна бросать тени на светлый образ писателя.

Не могу удержаться, чтобы не повторить еще раз: кто знал Чехова, знает, что среди писателей того времени, отличавшихся большою духовной чистотой, понимавших, что это «звание» — почетнейшее, Чехов являлся первым из первых; от его скромности, мягкости и внутренней собранности словно лучи исходили, согревали и освещали, при великом целомудрии, боязни громких слов, поучений, не говоря уже о полнейшем отсутствии самовосхваления.

Об этом без слов говорила вся его личность; об этом же свидетельствуют всеми написанными Чеховым словами, все его произведения.

Чехова оправдывать не нужно. Полудный писатель, заключивший золотой век русской литературы, первый по силе внутренней чистоте.

Рассказать о происхождении «Попрыгуньи» можно было не для того, чтобы обвинять или оправдывать, а как любопытный эпизод его жизни.

Сергей Яблоновский.